

Н. Н.
ЗЛАТОВРАТСКИЙ

Избранное



Николай Николаевич Златовратский

Деревенский король Лир

«Когда мне приходилось жить в деревне, я особенно любил беседовать со стариками. Вообще деревенский старик болтливее, разговорчивее с посторонним человеком, чем мужик-середняк...»

Содержание

***	.0005
I.	.0008
II.	.0014
III.	.0028
IV.	.0037
V.	.0051
VI.	.0072
VII.	.0082

**Николай Николаевич
Златовратский
Деревенский король Лир[1]**

*Посвящаю приятелю моему,
Ивану Анисимовичу*

Когда мне приходилось жить в деревне, я особенно любил беседовать со стариками. Вообще деревенский старик болтливее, разговорчивее с посторонним человеком, чем мужик-середняк. Старик всегда наивнее, непосредственнее, между тем как «середняк» непременно «солидничает», если он большак в хозяйстве, резонерствует, вообще старается быть не тем, чем он есть, старается «выказаться» с той стороны, которая, по его мнению, наиболее может поддержать его репутацию в глазах городского человека. Как бы там, впрочем, ни было, но я почему-то чувствую особое предрасположение к этим подгнивающим столпам, которые вынесли на себе тяжесть трех четвертей крепостного века и, подгнивши, погнувшись, но не упав под этой тяжестью, сложили исторический груз вместе с новыми наслоениями на не окрепшие еще основы своих сыновей. В этих хилых и дряхлых останках бывшего живет еще та органическая связь далекого прошлого с наступающим, которая невольно, неудержимо вле-

чет к себе внимание.

— Вот, дружок, вымрем все мы, старожилые-то мужички... Таких, как мы, уж не будет... Другой ноне народ пошел! — выговаривают они свои вечные жалобы на новые времена.

И действительно, чувствуешь, что вот вымрут они, эти старожилые мужички, и вместе с ними уйдет в невозвратную историческую тьму что-то такое, чего, может быть, уже не увидишь, не встретишь больше, и как-то тоскливо сжимается сердце. Тоска эта, впрочем, вовсе не знаменует отсутствие веры в новых «сынов народа», которые все же плоть от плоти и кость от костей этих же вымирающих стариков, но настоящее этих «сынов» такое хаотическое, смутное, за которым будущее представляется еще смутнее, еще неопределеннее. А тут в этих старожилых мужичках, посмотрите, как все окаменело, застыло в определенных очертаниях и формах! Они ясны, как книга, в которой вы четко читаете эпические страницы вековой борьбы.

Впрочем, все это вступление мало имеет отношения к тому, о чем я хочу вам расска-

зять. Сорвалось это с языка так, между прочим; пускай так и останется.

Несколько лет тому назад по кое-каким личным делишкам (племяннице моей достался, нежданно-негаданно, по наследству небольшой кусок из одного большого барского пирога) приехал я в село Большие Прорехи. В это село я заезжал и раньше, так как земля моей племянницы находилась как раз в соседстве с землей местных крестьян, и я сдавал ее в аренду одному зажиточному мужику-мельнику, у которого всегда и останавливался. У него же остановился и в этот приезд. Обыкновенно приезжал я из города в конце сентября и проживал, если осень стояла хорошая, недели полторы, две. Село это было большое, некогда разных владельцев. Многие мужики меня знали хорошо, в особенности из того «общества», к которому принадлежал и мой арендатор. Это был высокий, плечистый мужик-середняк, с «резонистой речью», высоким о себе мнением и, вследствие этого, бахвал на сходке и деспот в своей семье. «Хозяйство» свое, (а оно у него было большое: кроме своего надела, он брал в аренду земли поме-

щиков и наделы своих бедняков соседей, при том у него была мельница и рушалка для обдирания крупы) вел он «круто»; с семьей и рабочими обращался свысока и сурово. Но в то же время любил болтать с сверстниками на сходах и в трактире, считался даже весельчаком и добрым приятелем. Любил он и со мной поговорить и потешить меня веселым разговором, а больше рассказами и издевками над кем-нибудь из захудалых «рукосуйных» мужичков[2]. Но я его видал всего раз в день, к вечеру, когда он приканчивал «хозяйные дела» и засаживался пить чай, сняв сапоги, полушубок, расстегнув ворот красной рубахи и вообще, что называется, распустив брюхо. К чаю он непременно приглашал и меня. За чаем, кроме нас двоих, обыкновенно редко кто-нибудь присутствовал из семьи, а если это случалось, то только по особой милости хозяйина, и то после того, как мы уже выпивали стакана по три. Он обыкновенно звал тогда или жену, высокую, грудастую, довольно красивую, но туповатую бабу, или своего отца-старика, большею частью к этому времени или лежавшего на печи, или молча сидевше-

го в темном углу на лавке, скрестив на животе руки и изредка вздыхая.

— Эй, старик! — добродушно выкрикивал мой хозяин после третьего стакана, вытирая со лба обильный пот. — Поди, пополощи живот-то!.. Кипятку будет довольно! Все же развеселишься... А то, чай, скука все сидеть-то!

Старик, кряхтя и охая, искал около себя подог и болезненно поднимался на дрожавшие ноги, в старых валяных сапогах. У него вот уже года с два как совсем отнялись ноги, и он ничего не мог делать, как только ковырять лапти или про себя молиться богу. Впрочем, иногда, как разойдется, не усидит: то лошадь сводит к колодцу на водопой, то во дворе с чем-нибудь повозится. Говорил он обыкновенно в семье очень мало. Да и с ним никто не говорил. Это было нечто, предоставленное самостоятельному и естественному разрушению, как совершенно ни к чему не приложимое. Внуков у него не было; народ кругом был чужой: какие-то дальние двоюродные племянники, жившие в работниках, да работницы, которым некогда было хорошенько куска перекусить, не то что со стариком разговоры

вести. И старик как-то заживо замирал в своем углу. Разве только изредка, в праздники, заворачивал к нему иногда посидеть на солнышке на завалинке такой же дряхлый старик благодетель. Но когда приезжал я, старик как будто несколько оживлялся и особенно радушно улыбался мне из-под седой чащи волос, зарастившей все его лицо. И понятно: мы с ним были люди «гуляющие», как говорил он, располагавшие досугом и потому почасту сидевшие на припеке осеннего солнца у избы и нетерпеливо беседовавшие обо всем, что бог на душу положит. Но и то он оживлялся ненадолго. Привычка к полусозерцательной, безмолвной жизни брала свое, и он больше слушал меня, чем говорил сам, да только улыбался, выражая свое удовольствие.

Архаические прорехинские старички, заведя нас сидящими с моим стариком (кстати, его звали Ареф) на лавочке у избы в тихий осенний, прозрачный и слегка пронизывающий дрожью осенний вечер, в свою очередь вылезали из своих темных углов и подсаживались к нам.

Особенно меня поразили трое из них.

Один был высокого-высокого роста, кузнец по ремеслу, с желтыми и вечно перепачканными в углях руками (он все еще копался по целым дням в кузнице); но голова у него была совсем белая, маленькая, и лицо совсем ребячье, сморщенное, как будто он или плакать собирался, или смеяться. Он сидел и постоянно что-нибудь жевал беззубым ртом. Совершенный ребенок он был и по всему: наивен, беззаботен и легковверен. А между тем я знал, что единственный сын старика, тоже кузнец, веселый здоровяк-толстяк, когда был пьян, бил старика и выгонял из дома.

Другой, с кудлатою, с проседью, головой и кривыми ногами, вечно бывал подвыпивши (говорят, потаскивал у внука, у которого всегда бывала в запасе водка, а потом доливал водой), тот старик никогда ничего не рассказывал, а только улыбался и всем кивал головой. Даже нельзя было сказать с уверенностью, чтобы он и слышал что-нибудь из наших разговоров, потому что, если его спросить о чем-нибудь, он, вместо ответа, приложит правую руку к виску, нагнет на бок голову и с неумирающею улыбкой под усами и в

бороде вдруг затынет дребезжащим голосом заунывную песню. Посмеются над ним да так и махнут рукой. «Прямая ты, скажут, Самара!» (Почему-то его прозвали «Самарой».)

Третий был «сивый старичок», маленький, худенький, низенький. Но о нем речь впереди.

Для примера я расскажу вам, о чем и как мы беседовали.

Усядемся мы на колоде под окнами избы. Солнце в это время как раз стоит пред нами, так как оно закатывается за крыши противоположных изб. Своими бледными, негреющими уже лучами мягко ласкает оно старческие лица, старики жмурятся и ежатся под его лаской, как старые коты.

— Ноне, миленький, нам чести нету, — выговаривает мерным, неторопливым голосом Ареф, откинув свою массивную фигуру и большую седую голову к стене, скрестив на животе руки и совсем закрыв глаза. — Не те времена! Посмотри на сход — на сходе ноне все середняк-мужик... Нет нам чести! Говорят: «Окажи нам ум! По нонешним временам ум нужен... А какой у вас, стариков, может быть ум? Чего вы в нонешних веках понимать можете?» — «Понимали», — молвишь. «Понимали, да не нонешние века! Нонешние века особенные...» — «Не глупее вас были, — молвишь, — за мир стоять умели... Выстойте-ка

вы. Давайте-ка спинами ал и скулами считаться: у кого оне за мир больше трещали?» — «Трещали оне у вас, — смеются, — только и дело было что трещали... А ты вот окажи по нынешним векам ум... да!.. где нужно — змей, где нужно — лисой, где попроси, где попляши — вот ноне мирская заслуга!..» — «И точно: глупы мы на эти дела... глупы!.. И бог с ними пуцай!..» — «Ты, — говорит, — вот спиной-то мельницу не вывел, крышу железом не покрыл... Хорошо, — говорит, — оно тебе за чужим-то умом за печкой сидеть! Небось! скрозь железную-то кровлю тебе в лысину не каплет!..» — «Ну, и бог с ними. Пуцай по-новому управляются... А мы послужили... Помянут и нас...»

— Еще по-мя-я-ну-ут! Нет, это погоди! — говорил сивый старичок, сидевший по правую сторону меня, в накинутах на плечи старом нагольном полушубке.

Сивый старичок этот был с сивою же, по-вылезшей местами бородкой и слезливыми глазками, из которых один ничего не видел уж и только как-то особенно выразительно мигал.

— Нет, это ты постой, Арефа Пиманыч! — вскрикивал он и, встав пред нами, поправляя рубаху, затоптал своими новыми липовыми лапотками. — Еще мы напо-о-мним! Да!.. Коли что, мы напо-о-мним! Мы еще в своем деле — владыки! Ты еще нас — почти! Али я в своем доме не король? Али у меня заслуги нет? Е-есть!.. Коли что, мы еще напо-о-мним!..

— Друг, этого не скажи, — проговорил печально дед Ареф. — Исполнится предел...

— Предел-то еще когда исполнится!.. Да!.. Еще далеко до конца-то предела! Мы еще, слава богу, в полном разумении, чтобы нам конец-то предела показывать!..

— Ты ведь у нас бодер! Равно старый жеребец ин-но возгоришься, — заметил старик кузнец, не переставая жевать беззубым ртом, и беззвучно засмеялся в свои усы.

Самара весело все время смотрел на сивого старичка и хитро-снисходительно улыбался прищуренными глазками.

— Ты послушай-ка, дружок, ежели не в обиду твоей милости будет. Я тебе про платинку расскажу, — обращается сивый старичок ко мне, снова подсаживаясь сбоку и с уди-

вительной деликатностью касаясь моей коленки своей заскорузлой ладонью.

— Сделай милость, дедушка Онуфрий, — отвечаю я и замираю, закутываясь плотнее в пальто, приготавливаясь слушать, так как знаю, что это будет длинная-длинная страница воспоминаний, читая которую старик ухитрится пережить и перечувствовать вновь самые мельчайшие и неуловимые ощущения прошлого, хотя бы отдаленного уже на целые полвека.

Цепляясь одно за другое, плавно тянутся эти «напоминования заслуг». Но только — удивительное дело! — как-то, в конце концов, из рассказа оказывалось, что «заслуги» эти вовсе не относятся к тому, к кому, по справедливости, должны быть отнесены, а к предметам, не имеющим с заслугами ничего, по-видимому, общего.

Вот, например, рассказ о походе «платинки»[3].

«Простое, известное дело: крутой барин, вымогательство оброка, „где хочешь бери — неси“. Сошлись старики, потолковали и вынули из онуч заветные платинки, где-то, ко-

гда-то сообща полученные ими за артельную работу. „На, — говорят, — Онуфрий, неси ему, брось...“ Берет Онуфрий, идет к барину и думает: „Жалко платинки! Много ли обождать? Вот вернемся с заработков — отдадим, не зажалим... Зачем платинке пропадать, а старикам на последнем конце их жизни огорчаться? Ай, не отдам я барину платинки! Перетерплю, а не отдам!“ И вот пока входит Онуфрий на барское крыльцо, он решительным жестом засовывает стариковские платинки в голенище сапога. Известная сцена: „Оброк!“ — „Ваши рабы...“ — и поклон в ноги... Бац, бац! А тут барынька, тихая заступница, вышла и говорит: „Не бей их, не бей, милый!“ — и за руку его увела за дверь. Слышно, кричит он на нее там, ногами топает. А я стою: „Не отдам я тебе стариковские платинки! Перетерплю, а домой старикам назад принесу“. Думаю так-то, жду... А она опять вышла, тихая заступница: „Ступай, — говорит, — я велю тебе и паспорт выдать... Вернешься с заработков — не забудешь!“ Тихая барынька, заслужила она перед богом! Мужичьё горе за нее молить», — кончает Онуфрий. Красный

маленький нос его еще больше краснеет, а правый слепой глаз начинает чаще и чаще мигать.

А вот за платинкой следует длинная повесть о хлопотах по возвращению неправильно сданных в солдаты сыновей.

— Еду!.. Помолился — еду! Справку эту самую метрическую от попа крепко-накрепко держу. Приезжаю в город, — прямо к набольшему. «Врешь, — кричит, — врешь, мужичишка!.. Провести хочешь! Взятку хочешь дать?.. А я не возьму! Слышишь, не возьму! Не возьму!» Затрясся я весь, в ноги: «Не прикажи казнить, твоя милость, прикажи бумажку рассмотреть». Взял. «Жди», — говорит. Жду день, другой, третий, с лошаденкой, в городе-то, значит... А самому думается: «Поздно! Ой, запоздаю! Сыны мои, запоздаю!» Чудится, везут уж их, забрали. Ждать не станут! Повернут дело в деревне скоро, коли узнали, что я такую прыть взял... Жду, братец, с лошаденкой... Неделю прожил, а все нет решенья... Ни себе, ни лошаденке кормиться нечем стало... Взял этто я лошаденку за повод и пошел с ней по дворам, по миру, братец мой... Ей-богу!

Взял лошаденку, — думаю, лучше разжалоблю... Ходим этто мы с ней, побираемся... А я клянущу лошаденку: «И зачем я тебя взял, одра голодного? Сам-то я, може бы, кое-как прокормился! Связал ты меня, одер эдакий!» Клянущу ее так-то денно и ночью... Одначе превозмог — дождался: приказали со строгим приказом к посреднику ехать, чтобы как можно... «Вышло, — говорит, — старик, твое дело правое... Только смотри — торопись!» Вышел этто я, плачу; тут и кобыленку свою вспомнил... Да, тут вот небось вспомнил! Первым делом — чуйку суконную заложил, в которой к набольшему являлся, да овса купил. Всыпал кобыленке: «Поешь, мол, родная, только услуги!» Еду, бежит кобыленка, сердце не нарадуется: так-то ли бойко по пороше отхватывает! А я ее еще прихваливаю: «Ну, мол, кобылка, беги, беги!» Приехал к посреднику, а от него старшина выходит. «Так и так, — говорю, — вот приказанье от набольшего...» А моего старшины и след простыл. Я за ним. Гляжу, а он коня сторублевого обрядил, чтобы, значит, зараньше меня к нам в село попасть да сыновей моих угнать, как бы, выходит, ради для

того, что приказ, мол, опоздал... Сел это я, не будь плох, на свою кобыленку да за ним следом. «Примерная, — кричу на нее, — примерная животинка! Не загуби души христианской! Сивушка, вынеси!» Сам это гоню ее... Гоню, гоню, а сам посматриваю... Дрожит сердце: запыхалась, вижу... Ну, отпущу ей вожжи-то, вот так: отпущу-отпущу немного, дам вздоху, пока старшина-то у меня в глазах, а там и опять закричу: «Эх, примерная! Вынеси, ястреб ты мой поднебесный! Наберись силушки!»

Кричу эдак, да приговоры приговариваю, а у самого слеза бежит... мерзнет на бороде-то... «Нет, — думаю, — не вынесет кобылка... Нет, не вынесет! Загублю животинку... Того гляди — сейчас пластом падет! Микола милостивый, — думаю, — Фрол-Лавер, лошадные заступники, к вам прибегаю!» А сам опять нет-нет да отпущу ей вожжи-то: «Вздохни, мол, примерная!» Вот и последняя гора: село наше видно! На селе, вижу, народу видимо-невидимо около моей избы собралось: «Ну, отправляют!.. Али уж отправили?» Гляжу, старшина к Старостиной избе подъехал... Тут уж я остер-

венел, ровно зверь какой стал; чую только, будто во мне уж и жалости ни к чему никакой не стало... Встал этто я в санишках, намотал узел да и давай кобыленку бить... Бью в шальную голову! Ничего не помню... Видишь, братец, это уж во мне от горя-то жалость, значит, застыла: зверь стал человек — все одно! Обеспамятел! Прискакал к избе, толпа расступилась, от кобыленки только пар идет... Гляжу, поспел. У ворот подвода готовая стоит... Народ соболезнает мне: «Иди, — говорят, — прощайся, Онуфрий... К разгу бог тебя донес! Поспел!»

Я молчу: ни гугу... Вошел в избу; старуха моя в переднем углу с хлебом-солью стоит, на каравае образ держит, молчит, а слезы-то на хлеб у нее кап да кап... Сыны мои тут же, одетые стоят, в полушубках, кушаки да шарфы красные... Старшой-то припадать к иконе с готовился... Тут вот, эдак в сторонке — стол, на столе водки четвертуха, всякое варево и печенье, а пред ним староста сидит... Я только моргнул на него — и поклона не сделал, перекрестился пред образом да с маху: «Старуха, — говорю, — прибирай иконы! Будет,

помолились! А вы, сыны, хошь на печку поле-
зай, хошь на улицу разгуляться ступай... Мир
вам, родные!» А староста мне: «Это что за
уставы?» Тут уж я совсем олютел, как бы сооб-
разительность потерял, на него окрысился.
«Коли ты хошь добром, — говорю, — Мирон
Васильевич, так вот лакай водку, а не хошь
добром, так вот тебе порог... Ступай, к тебе го-
сти приехали, сам старшина!» Старосту так
из-за бутылки и вымахнуло вон... А я, эдак, сел
на лавке и сижу, молчу, себя не вспомню. А
старуха и сыны стоят, смотрят на меня, ровно
бы я и не в полном уме. Посидел немножко и
говорю: «Уберите кобыленку! Жива ли она,
примерная? Помни, родные, кабы не кобы-
ленка, стоять бы сыну под красною шапкой...
[4] Заслужил конек!.. Умирать с голоду буду,
ежели господь попустит, а с ним не расста-
нусь. Сам своими руками похороню, ежели
переживу... Заслужила, примерная». Так-то,
милый, вот она, заслуга-то от животного ка-
кая бывает! — закончил дед Онуфрий, утирая
полой полушубка слезившиеся от умиления
глаза.

— В ходаках хаживал, дружок... Ка-ак же!

Хаживал! Годами хаживал... В миру-то мы в ту пору ладно жили, приятельствовали... Лесок у нас еще стариками был закуплен — в род, в века, в потомство, чтобы навеки нерушимо порешили в миру держать... А тут вот после «воли» стали у нас тягать лесок-то... Скорбь! А я завсегда был мирской человек... Дал мне господь на мирское дело разумение! Землю ли переделить, поравнение ли мирское сделать, учет ли мирскому капиталу произвести — все Онуфрий, первым делом! Вот я какой был мирской человек — с улицы не сходил! Все ко мне шли за советом, от мала до велика! Ребятишки раздерутся на улице — и тем по справедливости, кому что, воздам!.. Стукну в оконце к старикам: «Почтенные! Мирское дело! Выходите, выходите!» У нас каждый вечер, у моей избы, сходы, ровно одною семьею жили... Ни у кого ни от кого тайны не было вот на экую малость!.. Горе ли, скорбь ли, радость ли у кого — все вместе: вместе всем миром слезами обливались, вместе и в смешки играли, коли господь веселым часком взыскивал. На улицу-то шел ровно в церковь. Из дому тянуло... Да мы по избам-то

почесть что и не живали: духота в них, теснота, только спать ходили. А летом, так по дням и не заглядывали: все на улице, на миру — у всех в глазах!.. Не богато жили, тяжело жили, зато дружно! Теперь уж один я из нашего мира старик-то остался... Не хочется и на улицу выходить! Другая, братец, ноне улица стала... Прежде, бывало, на нашей-то улице к вечерку равно ангелы божий слетались невидимо.... Тишь какая, мир и соглас!.. А ноне отлетели они, должно, ангелы-то божий: ноне свара, брань, ненависть, надсмешки... Ноне на улице-то идешь — поджилки трясутся.

Дед на минуту приостановился, как бы вспомнив, что он далеко уклонился от начала.

— Да, лесок... Мирская это была заслуга! Сидели, братец мой, везде сидели... Месяцами сидели... И гоняли тоже... Из Москвы (там нас настигли) гнали... Вишь?

И дед ткнул пальцем в какое-то пятно повыше лодыжки.

— Заслуга, друг... Отсудились!.. Не аблакатством, милячок, брали, а брали верой!.. Встанем у суда и стоим: и день стоим, и ночь сто-

им, и в жару стоим, и во вьюгу, и под дождем стоим, и в сухмень стоим... Нас гонят, а мы стоим. Угонят, а мы опять придем — опять стоим... Месяцами стаивали... А все, милячок, вера!.. Ну, выстояли...

За этими рассказами мы и не замечали, как на нас наплывали сумрачные тени. Дед Онуфрий решался боязливо закурить трубочку (он курил потихоньку), и только что в ней разгорался огонь, как пред нами вставала высокая, плотная фигура возвращавшегося домой арендатора. «Хе-хе-хе! Опять у меня завальня-то куриною слепотой поросла... Смотри, барин, ослепнешь ты с ней или поглупеешь... А ты, Чахра-барин, опять соску засосал? Бесстыжие твои глаза!.. Ведь уж умирать пора, а ты соску сосешь... В бога-то ты веришь ли? У-у, бесстыдник! Как тебя сыны-то терпят!»

— Не люблю, признаться, я этих старичишек, — говорил мне арендатор, когда мы сидели с ним за чаем. — Так, ни за грош свой-то век отжили...

— А за что ты Онуфрия Чахрой-барином прозвал?

— Так прозывают... Шумливый старичишка... Баламут!

После одной из таких бесед Чахра-барин неожиданно явился ко мне. Слышу, за дверями кто-то осторожно и шепотом спрашивает прислугу. Я отозвался — и дед Онуфрий вошел в дверь. Не взглянув на меня, он истово три раза помолился на образ. Во всей его маленькой фигурке была видна какая-то особая торжественность. Едва можно было признать в нем того «захудалого мужичка», над которым любил посмеяться мой «умственный» хозяин и которого он называл «Чахра-барин». Теперь Чахра-барин был одет в синий армяк, застегнутый на все крючки, высокий, стоячий ворот туго стянут под бородой; на ногах свежо вымазанные дегтем сапоги. Сивая голова смазана маслом и тщательно причесана, с пробором посередине. Даже сивая борода была расчесана в виде рассыпающихся лучей, и только слепой правый глаз неизменно моргал.

— Здравствуй, Миколаич, — наконец сказал он и степенно прикоснулся кривыми пальцами к моей руке. — Я к тебе.

— Милости просим... Говори зачем. Коли в гости — садись, тогда и гость будешь.

— Всерьез пришел, — таинственно сказал он, присаживаясь на краешек стула. — Дело хочу начинать... Вековое дело, братец! Поэтому, знаешь, оно в века пойдет...

— Что же, посоветоваться?

— Советов наших с тобой тут не надо... Для этого дела веками законы положены. Об одном надо стараться, чтобы отрешиться; ненависть какая осталась, али гнев, али жадность, али скупость, али огорчение — все из сердца вон чтобы! Чтобы у тебя душа, как стекло, светилась... И тогда воздай по заслугам, по равнению, по справедливости! Тогда будет твое вековое дело в мир и соглас, в совет и любовь!

Чахра-барин проговорил все это несколько восторженно и даже прослезился, но я никак не мог понять, в чем дело. Дед высморкался в полу, вынул из шляпы синий платок, утер вечно красноватый свой нос и глаза, уложил платок опять в шляпу и сказал наконец:

— Хочу сынов делить!

— Что так? Али умирать собираешься, али

ладу в семье не поддержишь?

— Зачем так? — проговорил, как будто обиженный, старик. — Умереть успеешь всегда. Мы еще послужим! Мы еще владыки при своем деле, в полном разумении...

— Что ж, или молодцы бунтуют, своей власти хотят, своим умом жить?

— Молодцы у меня, сказать тебе не в похвальбу, своему родителю не супротивны... И снохи, грех сказать... Уважительные... Все под моим умом ходят, моим распоряжком живут! В них этого поведенья нет, чтобы тебе и в нос и в загривок тычки пущать... Конечно, не без греха... С кем греха нет? Поссоришься иной раз... Ну, только ежели этак посерьезнее прикрикну — молчок, все молчок!

— Так зачем же ты их делить хочешь?

— Для порядку, братец мой... Чтобы с бабой за всегда можно резон иметь... А то эти бабы, хоша и почтительны, да много в них непостоянства: что ни день — все делятся между собой... Ну, для справедливости — ущерб! Ты бы их помирить, прикрикнуть, а и сам не смекнешь, чья плошка да ложка. Глядишь, ан ошибка! Того пуще содом... У нас

ведь, друг, деревня... Дурости-то этой достаточно... Ежели вот кто в городе пожил, али кто разум крепкий имеет, али обхожденье понимает, тот из-за ложки деревню на ноги не подымет. Потому понимает, что из-за этого людям беспокойство делать глупо... А ведь у нас — деревня!.. Так вот, братец мой, для порядку, чтобы во дворце-то моем порядок завести, а то после старухи покойницы, признаться, как будто попустился порядок-то маленько... Так вот для этого. Мне полегче большинство вести, а им в века пойдет... без ссоры, без брани, без пререкательств... Да и навперед будущее оно спокойнее... Неравно, грешным часом, бог конец предела положит!

— Зачем же я, дедушка, тебе?

— Как зачем? Для почету... Для дела почету больше — больше в деле крепости будет. Да ты уж захвати, сделай милость, карандашик, бумажки там... лоскут, что ли... Ты нам и пропишешь, так, для памяти больше, не для чего другого. Нам в волю не идти... Мы не из ненависти делимся, а делю я по своей отцовской справедливости, как из веков положено, по обычаям.

Я согласился с удовольствием.

Мы вышли. По дороге Чахра-барин постукивал в окно то к одному, то к другому шабру и говорил мне:

— Ты маленько, дружок, приостановись: я вот свату стукну, чтобы шел... Все, мол, готово!

Мы подходили к небольшой избушке, выходившей всеми тремя небольшими окнами на улицу, но зато длинной, делившейся сенцами на две половины. Некогда избушка выведена была прочно, крыта тесом, но теперь «выветрилась», осела на нижние венцы, а верхними, всем своим корпусом, накренилась в улицу. Тесины на крыше кое-где уцелели, кое-где заменены драньем, а вторая половина сплошь крыта уже соломой.

— Ну, вот, видишь мой дворец-то? Не велик — точно, зато уютно было! Ты посмотри, какую команду вскормил со старухой для мира! Немалая заслуга. А как вскормил? Все сам принаблюл, друг мой сладкий, своею спиной, а инно и скулой! Зато и владыка я здесь! Никто мне не указ! Королем живу! А все, дружок, по заслугам... Кровью заслужил! — уми-

ленно рекомендовал мне свой «дворец» Чахра-барин.

Но тут я заметил, что у избы топталась какая-то странная личность. Я несколько раз мельком видел ее и раньше у нас на селе, она постоянно водила за собой по улице ораву сельских ребятишек, обижавших и дразнивших ее. Одежда у нее была всегда одна и та же: изорванный в клочья пестрый жилет поверх посконной рубахи, распушенные порты, болтавшиеся на обеих ногах, в дырявых и стоптанных резиновых калошах; на лохматой, черной, с проседью, голове — поповская шляпа, увешанная разноцветными лоскутьями. Фигура эта особенно резко характеризовалась большими задумчивыми глазами, крючковатым носом, напоминающим клюв совы, беззубым ртом с сухим, выдвинутым вперед подбородком и клочком седых волос, вместо бороды, на правой щеке. Эта странная личность раза два в течение каждой недели являлась в наше село, с неизменными своими атрибутами — метлой и лопатой, которые она волочила за собой, и длинной палкой через плечо, с торчавшим на ней старым башма-

ком... Дурачок усердно работал около избы деда Онуфрия: метлой и лопатой поднимал он вокруг нее целые столбы пыли, расчищая вход в ворота.

— А вот у меня и камардин[5] свой, — весело указал мне на дурачка Чахра-барин.

— Кто он такой?

Дед замотал головой, тихонько хихикая себе в бороду.

— Благоприятель мой, — сказал он, понизив голос. — Сват еще придется.

— Что же с ним?

— А вот оно что значит не до конца-то предела! — таинственно сообщил дед и, помолчав, продолжал: — Какой мужик-то был! Сила! Истинный крестьянин... Все жил дома, при земле, большинство большую вел[6].. Двоим сыновьям фитанцы купил. Ну, думал, то ли в своем дому не король! Укрепил устой крепко, а сам в город поехал, думал там дворничать, да дело вышло незадашно... Через год обернулся в свое-то королевство, а ему сухую корку подали да за печкой угол показали (дед вытянул губы к самому моему уху). Баба его всю большинство забрала... Было, слышь, где-то у

него двадцать золотых припрятано — и тех не нашел!.. Благодарю создателя! Меня старуха баловала!.. Ионыч, ты бы, голубь, того... приостановил своим-то орудием промышлять... Чисто уж! — обратился Чахра-барин к дурачку с какою-то особенною сердечностью в голосе. — Вот и барин говорит, что будет, вполне достаточно... Праздник вполне!

— Что ж, по мне как хочешь, — сказал, шепелявя, грубым и серьезным голосом Ионыч. — Если хочешь, я еще подмету, а не хочешь — я и перестану.

Он говорил мало, отрывисто. Его особая глубокая серьезность, доходившая до сдержанного озлобления и презрения к другим, заставляла иных предполагать, что он «сам на себя напустил».

— Ты вот что, Ионыч... Ты того... не ходи ноне ко мне, на праздник-то... Потому тут дело всурьез, видишь, — заговорил Чахра-барин, отвернувшись к стороне от окон избы и от меня и копаясь в кармане под полой армяка. — Будет тут народ сурьезный... Вишь, барин... Пойдут над тобой смешки, того гляди... Ты вот лучше сам... На-ка тебе.

И дед сунул ему в руку медяк. Ионыч хладнокровно, взял монету и сказал: — Хорошо, я не приду ноне. Я после приду. Я в Грачево пойду, — и, собрав лопату, метлу и положив знамя с башмаком на плечо, широким, размашистым шагом пошел из села, сдвинув на затылок свою разукрашенную лоскутками шляпу.

— Ушел! — опять хихикнул дед. Он, видимо, был доволен.

— Юродивец вполне. Иной раз тоже заупрямится — ничем от него не отойдешь... А теперь ушел... Ушел доброхотно! — весело повторял он.

Вероятно, он считал это за хороший признак, так как вообще метение при каких-нибудь особенно торжественных случаях жизни считается в народе за дурную примету. А может быть, были и более глубокие причины.

IV

Мы вошли во двор. Как и самая изба, так и двор, и сенцы, и хлев, и сенница. и огород позади двора, — все было миниатюрно, бедно, дряхло, но, несмотря на то, все дышало жизнью, какой-то особенной жизнью, исключительно свойственную деревне. И в самом деле, какая сложная жизненная организация существовала на этом ничтожном, отмеренном мужицким «лаптем» клочке усадебной земли!

Солнце стояло как раз над сараем, но так как соломенная крыша последнего была покрыта бесчисленным множеством дыр и представляла из себя подобие полуободранного скелета или прорванного старого решета, то солнечные лучи в изобилии рассыпались в таинственном сыроватом полумраке двора и желтыми пятнами ложились на свежей соломе, скудно и жидко разбросанной на подстил. Там белые солнечные «зайчики» бегали по дырявым бревенчатым стенам, здесь два толстые луча, пробившись сквозь боковые отверстия, пересеклись и осветили темный угол,

где лошадь, фыркая и переступая с ноги на ногу, время от времени матерински любезничала с жеребенком, облизывая его морду. В противоположном углу жалобно мычал теленок за загородкой, а новотельная корова, на правах родильницы занявшая самую середину сарая, флегматично отвечала ему легким мычанием. Две больных овцы, с обрезанными ушами и вставленными в них розовыми ленточками, вместо серег, не угнанные в стадо, терлись постоянно одна около другой, связанные узами какой-то непостижимой солидарности. Вверху, на подволоке[7], серая кошка вывела целую грудку котят и беспокойно возится с ними, целый день перетаскивая их за шиворот из одного угла в другой. А еще выше, по застрехам и конькам крыши — воробы, голуби и ласточки поселились своеобразными семьями и наполняли весь верх сенницы воркующими звуками. А эти воркующие звуки громким и восторженным криком покрывает петух, важно царящий над своим куриным царством. И наконец, как царь над всею этою бессловесною животиной, «венец творения» — старик Онуфрий, по прозвищу

Чахра-барин, господствующий над целой «командой» больших и малых жизней, втиснутых в маленькое, низенькое, трех окон жилище, именуемое крестьянской избой.

В самом деле, до какой степени велика «жизнетворная деятельность природы», выражаясь языком старинных ученых! Как она плодovitа! Не потому ли она так и расточительна, так и беззаботна к судьбе своих созданий? Только на одном этом ничтожном клочке земли, величиной в несколько квадратных мужицких лаптей, сколько горя, бедствий, напастей, борьбы и страданий придется перенести этой массе жизней, прежде чем немногим из них удастся совершить полный цикл органического прозябания или дойти «до конца предела», как говорит старый Чахра-барин.

— Вишь, у меня как здесь людно! — любовно и самодовольно говорил дед, показывая под навес двора. — Ты войди-ка сюда, войди! Не просторно, да уютно. Натка-с вокруг меня сколько живота пригрелось! Оно и приятно... Потому знаешь, что все сам принаблюл, своею кровью... по заслугам, братец мой! Да! Выйдешь утречком в усадьбу-то свою и дума-

ешь: одно слово — владыко надо всем! То ли не король? Все ведь это тобой живет, при тебе пригрелось... Разори-ка вот мое-то гнездо, — сколько слез будет! Да! Вот еще собачка была Шарок — страж, одно слово, слуга верный! Ну, волк окаянный утащил... ничего не поделаешь!

— А эта кобылка — та ли «примерная», что тебе заслужила? — спросил я.

— Нет, братец мой, — сказал с горечью дед, с каким-то особым певучим тоном в голосе. — Променял ту, на базаре променял. Хромать шибко стала. Пристарела, видишь... Нельзя по нашему делу, ежели через конец предела. Всякому конец предела есть... Долго терпел, жалко было, да, братец, ничего, видно, не поделаешь: старую колоду в овраг вали!.. Ну, сюда вот загляни, — повел меня Чахра-барин «на зады», так увлекшись осмотром своего «королевства», что забыл заглянуть в избу. — Вот здесь приспособленья мои покажу я тебе! Все ведь веком накапливалось.

А кое-что еще саморучно сделано... Тоже, в свое время, ремесла кое-какие знал! Вот, вишь, передки-то у телеги — сам соорудил.

Крепость-то какая!.. Лет пятнадцать живу...
Право, не вру... что ты?!

Мы осмотрели телегу, роспуски зимние и летние, сани, две сохи, две бороны, косулю[8] и другие орудия деревенского хозяйства, сваленные и свезенные к одному месту.

Было заметно, что насколько дед хотел показать мне свое «деревенское богатство, веками нажитое», настолько же он, кажется, делал осмотр лично для самого себя, часто оставаясь и, по-видимому, соображал и считал: все ли собрано было, не забыл ли чего. Кроме того, деду, видимо, приятно было еще раз осмотреть каждую вещь, так как они вызвали в нем ряд воспоминаний, которыми он делился и со мной.

— Вот телега — купецкая телега в свое время была! Ну, немножко она теперь того... пристарела... Промокает у меня крыша-то, братец мой, частенько. Иной год самим-то соломы не хватит, так не то что крышу крыть, а еще у крыши-то одолжишься... Глядишь, по горсточке всю и перетащишь скотине. Всяко бывает... А добрая была телега. Старуха моя с собой ее во двор ввела... Тесть ей отдал. У меня

тесть богатеющий был, именно крестьянин хозяйственный: трех лошадей держал, двух коров, овец да баранов штук двадцать, телок четыре... Ну, мне вот не привел бог! Да я доволен и тем... Я не жаден был, братец мой! Только то и брал, за что спиной платил. Вот гляди — из всего, что здесь лежит, нет братец мой, маковой росины, чтобы лихвой али обманом взято было: все начистоту, друг мой любезный, все на кровную денежку принаблюдено! Ну, спроси про какую вещь хочешь... Спроси, — сейчас, по истинной совести, отчет дам, и краснеть не за что! Ну, скажи! — пристал ко мне дед.

Чтобы сделать ему удовольствие, я стал искать какой-нибудь вещи, выходящей из ряда обыкновенных. И нашел. В сеннице, на стене, среди шлей, хомутов, седелок, кос, граблей и пр. висел на гвозде барский ременный хлыст, с размочалившимся концом и обломанною ручкой.

— Ну, вот, — сказал я, — откуда ты достал такую штуку?

— А! — засмеялся, видимо довольный, дед. — Это уж, брат, умом!.. Да умным словом

заслужил!.. Барин подарил, — года вот три всего, — не тот, что я тебе говорил, а нынешний, — помоложе меня будет... Любит он меня! Нас ведь здесь, в селе-то, всего два двора, ему временнообязанных-то... Мы так и живем в одиночку, у нас и «мир» свой... «Семидушный» зовут.

— Ну...

— Ну, так вот повез я ему, братец, оброк. Вхожу. А он сидит, чай пьет... Видно, скучно ему одному-то в деревне сидеть... «Это ты, — говорит, — Онисимыч?» Я, говорю, ваша милость. И сейчас это ему пятьдесят рубликов на стол... Вот ведь моему-то дворцу какая оценка идет! Да! Плох, плох дворец, маловат и тесноват, стар, в землю врос, а пятьдесят рубликов оплачиваю одного обро-о-оку, друг мой любезный! За пять это душ, выходит, братец мой. А ежели все-то счесть, что с моего королевства сходит, так, дружок, пожалуй, и считать устанешь... Я и сам доходов своих не считаю — собьешься!.. Придут, скажут: давай, с твоего дворца вот столько-то следует! Сделай милость, бери, коли есть, а нет — не взыщи... Да! Ну, так вот и говорю: оброк, мол, ва-

шей милости. «Спасибо, — говорит, — старик, спасибо... Дай-ка я тебя угощу за это водочкой... Заветная у меня есть... Садись — гость будешь!» И за стол меня посадил с собой. Что ж, говорю, коли ваша господская милость будет, — выпью. Налил он рюмку (граненая рюмка, на солнышке так и играет — в добрый стакан будет), выпил я, налил другую — выпил, только поморщился! «Ну, что, — смеется, — какова водка?» Хороша, говорю, куда сладка! Я так тебе скажу, ваша милость: много я пил водки, а дороже этой не пивал. «Как так: дороже?» — спрашивает. А так, ваша милость, сами видите — по двадцати пяти рубликов за рюмку оплатил! «Каков! — закричал, да так со смеху и покатился. — Ну, — говорит, — хоть ты и стар, а у тебя еще ума — палата!» Ум, говорю, умом, а главное, прямоотой я беру... А сам про себя думаю: «Постой, коли так...» Вот что, ваша милость, говорю, уж ежели тебе так мое умственное слово понравилось, так ты меня за него вознагради... «Изволь, — говорит, — чем хочешь?» Оглянулся я эдак, да и говорю: «Дай ты мне вот эту рюмку, из которой я дорогую водку пил, да вот этот

кнутик... Вишь, он уж растрепался, не нужен он тебе! Из той рюмки стал бы я водку пить, а кнутиком внучат учить да бар вспоминать! Дашь, что ли, на память мужику?» — «С удовольствием, — говорит, — бери, сделай милость!» А сам смеется, и я смеюсь. Погоди, я тебя из этой рюмки угощу, — заключил дед. — А теперь я тебе еще покажу... хомут немецкий!

Но в это время на задворки вышла из-под навеса двора девушка лет 20–22, с непокрытою, гладко и тщательно расчесанною головою, так что русые волосы светились, а в косу, толстым комлем примыкавшую к затылку, была вплетена лента. Высоко поднятые груди прикрывала ситцевая розовая рубаша с широкими рукавами, а поверх ее надет ситцевый полинявший сарафан. Она была босая, ноги толстые, изрезанные и растрескавшиеся в разных местах. Руки красные, с медными и оловянными кольцами. На загорелой шее виднелись голубые стеклянные бусы. Лицо у нее тоже было загорелое, обыкновенное лицо деревенской бабы после страдной поры: кое-где подпухшее, выжженное солнцем, щеки и

нос были красны, с них лупилась от загара кожа. А по низкому лбу, на который спускались волосы, пробегали мелкие морщины. Но этот низкий лоб, густые выдающиеся брови и ушедшие в глазницы большие, карие, сердитые глаза придавали лицу девушки какой-то особый характерный отпечаток, сразу выделявший ее из всех других. Во взгляде ее карих глаз исподлобья было что-то и отталкивающее, и сразу овладевавшее вашим любопытством.

— Батюшка! — крикнула она от калитки. — Али ты совсем уж из памяти выжил? Забыл, что народ собрался? Сам завел потеху... Мало смеются над тобой! — неприятно раздался ее резкий, недовольный, брюзгливый окрик.

— Иду... Знаю!.. Что за приказы! — также недовольным тоном ответил Чахра-барин. — Не без дела шатаются... Порядки знают...

— А ты ступай скорей!.. Чего уж тут — порядки! — злонасмешливо сказала девушка, несмотря на нас, и слегка кивнула мне головой.

— Мы вот королевство осматривали, — по-

шутил я, чтобы извинить деда Онуфрия.

— Королевство!.. Воронье гнездо разоренное! — буркнула она, скривив рот, и скрылась за калиткой.

Чахра-барин сокрушенно махнул рукой и помотал головой.

— Это дочь твоя?

— Девка... Вот замуж никак не выдам... Давно пора... Лиходейка стала!.. Известно, парня надо... Ей отцовская честь что? Плюнуть... Ноне она здесь, а завтра с другим попом обедню правит... Ну, пойдем делить! — прибавил дед, стараясь попасть на прежний, добродушно-веселый тон.

— И дочери выдел будет? — спросил я.

— Нету, у нас этого не бывает... Девка не в дом несет, а из дому... к какому ей ляду выделять! Все одно к чужим пойдет...

— А ежели замуж не пойдет она?

— Не пойдет — другое дело... Незамужница заодно с мужиком идет... Выдел равный ей должен быть произведен, только ведь это редко... Удержишь ты девку, как же! Ей хошь золотой дворец посули, а она все будет от своих на сторону глядеть!.. Это уж, друг любезный,

такое их произволение!.. Ну, пойдём делить! — опять сказал он шутливым тоном. — Весь дворец, братец, поделим: до маковиной росины! Все отдам, — что мне? С собой в гроб не возьму! А пока все при мне же останется... Надо всем я же владыкой останусь!

Удивительное дело! Возвращаясь назад, я испытывал уже совершенно иные ощущения, чем в то время, когда Чахра-барин показывал мне «свое королевство». Чахра-барин был художник. Он не только сам жил образами и представлениями, разрисованными собственной фантазией, но умел заставить жить этими образами и других... Увы — странная девушка двумя словами разрушила иллюзию... Я видел, что королевство действительно было разоренным гнездом: все было дряхло, старо, без порядка. Очевидно, твердые хозяйственные руки отсутствовали и надо всем царила непроходимая и тяжкая нужда.

На небо набежали облака. Быстро, как гонимый ветром дым, неслись они с севера. Солнце, которое одно только и скрашивает унылость осеннего дня, несколько раз мигнуло среди разорванной гряды облаков и скры-

лось наконец совсем. Ветер тряхнул пожелтевшую вершину вяза, расправившую свои широкие ветви над крышей двора, и бурые листья закружились в воздухе. Я взглянул в глубину навеса — там был мрак. Пересекавшиеся золотые лучи исчезли, прихотливой и фантастической игры света и теней не было следа. Печально глядела ободранным скелетом крыша, в широкие пазы стен засвистел ветер. Корова жалобно замычала, и заблеяли тоскливо больные овцы.

Ничто так не разрушает иллюзий и фикций, как осень. Умиравший страстный, фантастический идеализм весны сменяется холодным и бесстрастным реализмом. В моих ушах как будто все еще звучали холодные и жалобные, как этот осенний ветер, слова девушки. А выражение лица — это злобное уныние — так шло к осени.

— Вот как, дружок, Чахра-барин поживает! — вдруг прервал мои тоскливые размышления дед. — Ежели живешь ты правдой да прямизной, да артель у тебя стоит в согласье и любви, да ежели ум у тебя есть, так вот ты и король! Ходи прямо, смотри бойко! Стыдиться

тебе не перед кем! Что смотришь? Правду говорю...

Я, действительно, слишком пристально смотрел в лицо деда. Господи, что это было за лицо! Оно все играло и светилось так же, как у ребенка. Но что это было: сознательный самообман или иллюзия голодного?

— Ну, пойдем, я тебя теперь с моей артелью познакомлю... Ведь я, брат, ею и силен... Кабы не артель, так где бы мне королем быть! — наивно заметил Чахра-барин, вступая в сенцы.

Через сенцы, у которых половицы, что называется, «ходуном ходили», вошли мы в левую, «переднюю» половину избы. В ней было темно, душно и тесно. Сквозь маленькие заплатанные окна едва пробивался осенний свет, да и его загородили широкие спины сидевших на лавке мужиков. Их было человека четыре; тут же была в сборе и вся семья, человек восемь; кроме того, висела в углу люлька, у которой сидела молодая баба и кормила ребенка. Чрезвычайно низко висевшие у самых дверей полати[9] как-то еще больше увеличивали тесноту. На полатах, вниз животами, валялись малые ребятишки, свесив вниз свои кудлатые, взъерошенные головы и смотря на нас бойкими, шаловливыми глазами.

— Пришел? Ну, а мы думали, ты уж у барина загулял... Ты ведь с ним любишь хороветься, — заговорили хором сидевшие по лавкам мужики.

— Загулял! Чай, я, слава тебе, господи, не вертопрах какой, — обиделся дед. — Осмотрел вот все, обсчитал в королевстве-то своем,

чтоб после не забыл что...

— Не бойсь! Не собьешься в мужицком-то королевстве!

— Не велики кладовые-то припасены, упомним, бог даст! — сказал, улыбаясь, молодой мужик, вставший при нашем приходе.

— Ну, вот, — рекомендовал мне дед, — это вот сыны мои, а это — старики, сваты да шабры, — знакомы тебе... А это бабы! — махнул дед, не оборачиваясь назад, рукой к печке, за загородкой которой стояли две-три молодые женщины.

Я поздоровался с его сыновьями «в руку». Один из них был высокого роста, с большою рыжею лохматкой, плечистый, здоровый, с веселым, открытым лицом, из тех мужиков-весельчаков, у которых на губах постоянно витает добродушная насмешка. Он был в красной ситцевой рубаше, суконных шароварах и больших сыромятных сапогах. Другой выглядел еще совсем парнем: низенький, сухопарый брюнет, подстриженный «в кружку», с серебряною серьгой в ухе, в суконном пиджаке и глянцевитых, с набором, сапогах. Это было одно из тех ухарских, беззаботных и

несколько нахально высматривающих лиц, которых много встречается среди столичного фабричного люда.

По передней стене, действительно, сидели все мои знакомцы — и Самара, и кузнец с детским лицом, и сам дед Ареф припелся кое-как; только четвертый старик не был мне знаком: это был кудрявый, черноволосый, смуглый, с крючковатым носом, низенький, коренастый мужичок, с вывихнутым плечом, которое он поминутно вздергивал до самого уха; на нем был новенький, со стоячим воротником сермяжный полуармяк. Он постоянно переводил глаза с одного говорившего на другого и так внимательно вытаращивал их и следил за разговором, что казалось, для него было крайне важно не потерять ни одного слова. Сам же он больше молчал.

— Пришел и ты? — обратились ко мне старики, кивая головами. — Посмотри, как нищую суму делить будем, — прибавил старик кузнец.

— Ну-у, нищую! Слава богу... чем наградить — найдется. Не по кабакам век прожили... Не знаю, как дальше дело поведут, а у

нас, слава богу, заслуги есть... Крестьянство свое содержали, — обиделся опять дед, сердито расстегивая под бородой ворот кафтана.

— Да это я не в обиду тебе сказал, а так... больше для всего крестьянства... Что для ба-рина наше хозяйство? Пустое место... А туда же, скажет, делить собрались... Вишь, старики собор собрали! Как быть! Все ж позабавятся, старину вспомнят! — добродушно подсмеивался старый кузнец, начиная жевать беззубым ртом.

— У всякого свой сурьез, — категорически заявил Чахра-барин и, обдернув синюю пестрядинную рубаху[10], махнул по столу рукой. — Бабы! приberi со стола! — грозно крикнул он. — Что за порядок! Что вы, не видите, что ли?.. Экая деревня! Рады, что мужья приехали, и глаза разбежались!

Дед ворчал, старики и сыны молча улыба-лись. Я подошел к старшему сыну.

— Делить вас дед хочет, — сказал я, чтобы чем-нибудь начать разговор.

— Делиться хотим, — поправил он меня.

— Что же, сами хотите?

— Да из-за баб больше... Нам что! Мы в

Москве живем, в заработках... А вот бабы... Дедушка-то стар уж стал, настоящего распорядка с бабой не сделает... Бабы забирают! — подмигнул он мне добродушно на отца.

— А ты бы... того... скромненько, Титушка, — сказал дед сыну, сдержанно кивая бородой. — Погодить бы... Вот, когда я сам своему пределу конец положу, тогда и разговаривай!.. А то ведь здесь старики... Смешки-то оставь!

Сын захохотал беззвучным смехом и замолтал из стороны в сторону своею рыжею лохматкой.

— Да нам что!.. Господь с тобой, — ответил он, — владычествуй!.. Мы в твою команду не встряем... Сделай милость!.. Мы вот — ноне здесь, а завтра нас нет... Все в твоих руках! Сам за все и ответствуй. Мило — так командуй, а не мило — твое дело!.. Мы тут ни при чем... Ваше дело с бабами!

И Тит опять засмеялся беззвучным смехом.

— Да уж надоть правду сказать: чужой век заедать — заедает, а распорядков хороших мало видно! вдруг сказала сидевшая у люльки женщина, бросила в нее ребенка и порывисто

начала его качать, — Кабы из его-то команды пользу видеть...

— Молчать! — грозно перебил дед. — Ах ты, эдакая... сорока! Али муж приехал, так и страх потеряла?

— Кабы ежели... А то шумит, что сухой венник, — не слушая, продолжала бойкая баба, — со всеми соседями перессорил своими-то порядками...

— Перестань!.. Что за самоуправство? — протянул презрительно-наставительным тоном, искоса взглянув на бабу, молодой мужик в пиджаке, все время крутивший сигаретку.

Молодая баба, вероятно, была его жена.

— Ну, умиритесь! — сказал торжественно дед. — Дело такое... вековое... Соглас во всем нужен!

И дед поставил на стол штоф водки, а бабы подали огурцы, куженьки[11], хлеб.

— Благословимся, старички! Начинай, Ареф, — приглашал дед, наливая водку. — Ну-ка, милячок, — обратился он ко мне, — для начала дела... из гране ной-то! Вот она — заслуженная-то мужицким умом!

И дед подал мне граненую барскую рюмку.

— Ну, дай бог поделиться в совет да любовь!.. Пошли, господи, мир и согласие!.. Чтобы во веки веков!.. Без претыкательства чтобы!.. Чтобы жадности этой не было!.. Справедливо чтобы, главное!.. По заслугам!.. Чтобы судьбища этого после не было! Сохрани господи! — и т. д., раздавались возгласы и пожелания по очереди встававших и выпивавших мужиков.

— Да нам что! Господи помилуй! Из-за чего нам ссориться?.. Свои люди, кровные! Ведь мы не из чего — не из ненависти али злобы делимся... делимся по доброхотному желанию!.. Кушайте, старички, во здравие!.. Благодарим на пожеланиях!.. А что насчет претыкательства или судьбища — упаси господи! С чего нам? Нам что?.. Все по-старому будет: пускай старичок управляет!.. К чему обиды?.. А только как будто для порядку лучше... Ведь вместе будем жить, никуда не разбежимся... Кому что надо — бери... Господи, царь небесный! Да мы это и греха на душу не возьмем! — и пр., и пр.

Такими возгласами и заявлениями отвечали, с своей стороны, на пожелания гостей в

один голос хозяева: и дед, и сыны его, и невестки, и еще неожиданно откуда-то взявшаяся старушка, вероятно, дальняя родственница. Только Степаша (так звали дочь Чахры-барина) не принимала никакого участия; она молча сидела в углу и сердито чинила старый отцовский полушубок.

— Ну, милячок, — обратился ко мне дед, — ты бы того... Бумажку-то приготовил... вписать, так, для памяти...

— Хорошо. Как же мне начинать?

— Да что начинать?.. Как вот будем говорить, так и пиши: Климу — лошадь, а Титу — корова; Титу — телку, а Климу — овцу...

— Как овцу! За телку-то овцу? — вдруг вскочила от люльки молодая невестка. — Господа старички! как вы хотите, мы на это не согласны...

— Ах, дура, дура!.. Вот она, баба-дура! — замотал дед сокрушенно головой. — Да ведь это к примеру... Ведь это я барину пример даю... Экая необузданная!

— Конечно, к примеру, глупая!.. Ты поймай, как речь идет, — наставляли в свою очередь и старики.

— Ты сиди! — прикрикнул на нее молодой муж.

Баба, по-видимому, смирилась, но по всей ее фигуре и разгоревшимся глазам было видно, что она приготовилась к борьбе на жизнь и смерть, что ничто не ускользнет от ее внимания.

— Ну, благослови господь! — сказал дед и, поместившись с правой стороны меня, положил локти на стол и искоса посматривал ко мне в бумагу.

Слева от меня присел черноволосый, кудрявый мужичок, он чрезвычайно сосредоточенно через руку смотрел, как я писал, и от времени до времени подергивал вывихнутым плечом.

— Клади избу, — начал дед, — Тут долго толковать нечего! Изба в род идет... Переднюю горницу клади старшему, Титу, а Климу пущай задняя идет... Так ли?

— Справедливо вполне!

— Ну, теперь ежели младший совсем в отдел захочет, на новую усадьбу, — пущай ему, в зачет избы, сенница пойдет тогда. А до тех мест сенницей сообща владать... А мне что?

Мне ничего не надо... Я вот из горницы в горницу и буду переходить. Так ли? Мне, старику, много ли надуть!.. Я знаю, моих заслуг не забудут... К чему тут уговоры?

— Зачем?.. Господи помилуй!.. Чать, ведь родитель... Да мы не токма что... Не крестьяне мы, что ли? — заговорили молодые.

— Мне еще вот, может, годков пять-шесть повладычествовать... Пока еще я в силе... А там — простите, родные, коли ежели старик отдохнуть захочет да печки запросит... Всему свой есть конец предела! Ну, тогда не осудите: старика приголубьте... Много ведь поработано на веку, и отдохнуть когда-либо надо будет, — и дед утер прослезившиеся глаза.

— Справедливо вполне!.. Да мы бы, пожалуй, и теперь... Мы не утруждаем... Коли ежели хочешь...

- Нет, зачем? Теперь я сам не хочу... Еще я сам теперь в полном разумении!.. Еще моему концу предела не положено!.. Еще мы послушим! Небось не хуже молодого дело поведем: у молодого-то оно, точно, ум бойчее, зато у старика прочнее... Молодой, глядишь, — фитю, фитю! за тем, за другим погнался, а старик

что бык: он на своем крепко стоит, за свое дело держится, на моду не пустится, на соблазн не пойдет... Старик дедовскому завету крепок.

— Верно, верно! — поощряли деда старики.

— Ну, значит, теперь — надворное строение... Пиши так: а владеть нам, братьям, надворным строением сообща, пока на одной усадьбе жить будем, без ссоры, без препирательства; а в тех случаях, — диктовал мне дед, — когда младший пожелает на новую усадьбу уйти, то выдать ему на снос сенницу, а прочее старшему пойдет... Так ли?

— Справедливо! — откликались лаконично в избе.

Я писал. Старики сидели по лавкам, опустив вниз головы и нагнув спины; сыновья и бабы стояли посередине комнаты около стола и молча смотрели, как бегало мое перо по бумаге, а выше, с полатей, сверкали бойкие, разноцветные глазенки ребятишек.

— Теперь одежду... Тащите, бабы, одежду! — приказал дед.

Бабы притащили из клетки два вороха старых и новых полушубков, армяков, поддевок, две пары сапог валяных, бабыи шугай и пр.

— Ну, вот, — говорил дед, — делите... Все отдаю! Себе только один армячишко оставлю... Что мне? Куда?.. Делите поровну... Все ведь это артелью строилось... Кабы я один, где бы мне столько богатства нажить?.. Все вместе в одну житницу тащили... Только вот Климу полушубка не дам... Заслуги нет! Ты у меня армяк в Москву взял да прогулял. А отцу хошь бы чем польстил, хошь бы гостинец какой!.. Заслуги не видать!..

— Да мне, пожалуй, не надо армяка-то, — отвечал сконфуженный Клим, — мне пинжак надо!

— Ну, и строй себе пинжак!.. А полушубка я тебе не отдам...

— Ты не по заслугам дели, а по равнению... Все в одно работали, — заметила бойкая жена Клима.

— А ты не учи. Одно дело по равнению идет, другое дело — по заслуге... Ну, равняйте сами!

Началось равнение. Каждая вещь рассматривалась — слегка и поверхностно сыновьями, очень тщательно — бабами и стариками, когда вещь вызывала спор. В особенности хо-

рош был кудрявый черный мужичок; он вдруг вскакивал, подходил к ворохам, брал какой-нибудь шугай, молча осматривал его сзади и спереди и затем, положив на место, молча возвращался и садился на лавку.

«Ну что ж?» спрашивали его. Он махал рукой и говорил: «Справедливо!.. Пущай!» Наиболее говорливым оценщиком неожиданно оказался старик Самара, так любивший петь заунывные песни; он все время неустанно расписывал достоинства каждой вещи и определял их сравнительную ценность.

Прошло около двух часов, пока мы все собором выбрались во двор. Молодая жена Клима бросила ребенка в люльку на произвол судьбы и побежала за нами. За ней, быстрее молнии, слетели с полатей ребятишки и тоже высыпали на двор. К общей толпе с улицы прибавилось еще два-три соседа.

На чистом воздухе оценка пошла оживленнее, благодаря наплыву новых участников; да и самые предметы дележа представляли более интереса. Стало во дворе шумно илюдно. Сам дед принял горячее участие в оценке вещей. Он совсем расхотелся. Его художниче-

ская натура снова заявила себя. Задетый кем-нибудь за живое насмешливым словом над телегой или сохой, он вдруг пускался в обольстительные подробности относительно их происхождения. И вот этими подробностями, в которых главный элемент составляла масса затраченного мужиком труда, изворотливости, самопожертвования, скудный крестьянский инвентарь приобретал в глазах наблюдателя какие-то фантастические размеры.

То одушевление и сердечность, с которыми дед защищал свое «королевство», вносили такую полноту жизни в это «разоренное воронье гнездо», что было очень трудно не поддаться иллюзии. А сколько времени было потрачено на оценку и раздел этого «деревенского богатства», чтобы все привести к принципу «равнения и справедливости»! Почти смеркалось, когда мы возвратились снова в избу. Заметно, что приустиали, и только Чахра-барин, казалось, никогда не чувствовал себя таким счастливым, как в этот день.

— На-ткась, — сказал он, — какую махину осмотрели!.. Целый день делили... Вишь, и солнышко закатилось!.. Ведь оно у меня, ко-

ролевство-то, не малое, веками накапливалось!.. Мне добрым людям не грех в глаза посмотреть! Али я вертопрах был, али я своей родной артели расточитель, али лежебок, али от глупости добро размотал? Вот оно — смотри, гляди кто хочешь!.. Все в целости передаю! Потому тут на всем одно — кровь наша да пот наш... А этому цены нет! — заключил он несколько торжественно, залезая опять за стол.

Все молча усаживались по лавкам.

— Ну, милячок, прочти же ты нам, что у тебя там объявилось! — обратился ко мне Чахра-барин.

Сыновья подошли ближе к столу, бабы сдвинулись позади их. Черноголовый кудрявый мужичок выпучил на меня сосредоточенно глаза. Я прочел инвентарь имущества деревенского короля.

— Ну, вот! Справедливо вполне, кажись, старики?

— Справедливо вполне! Как быть!

— Мелочишка неважная кое-какая не вписана... примерно, сапог две пары валяных, да сыромятные... Ну, да это пуцай так пойдет!

Из-за валяных сапог судиться не пойдем! — сказал старик.

— Пожалуй, кому охота!.. С судом-то пятеро сапог новых пропьешь! — весело заметил старший сын и, по обыкновению беззвучно засмеялся.

— А теперь, братец, ты вот что прибавь, — начал дед. — Дочери же моей Степаниде Онуфриевой... Слышь, Степашка, об тебе речь идет!

Степашка вдруг вся вспыхнула, ее глаза беспокойно забегали по работе, но она молчала и не подняла головы.

— Дочери же моей, — продолжал дед, — в случае, ежели господь даст просватаем, выдаю ношеную одежду, что после старухи моей осталась. Мы же, братья, наградим ее, кто может, по силе-помочи, по братней любви... Так ли?

— Что ж! Известно, по обычаю... Ежели будем в силах! — отвечали братья.

— За лиходейство награждать-то не приходится, — сдержанно заметила молодая жена Клима. — Что мы от нее видели? Ты ей слово, а она тебе десять... Ты ее работать пошли, а

она тебе хвост задерет, что телка... только от нее и видишь! Какая от нее в доме заслуга?

— Только вот по бабушке еще и терпим, шепотом заметила старшая невестка старушке с добрым, сморщенным в кулачок лицом.

— Ну, молчите!.. Слышь! Степашка! Я тебе, для великого нонешнего дня, лиходейство твое прощаю навеки... Бог с тобой!.. Не видал от тебя я ласки, ничем никому ты не польстила... Невестки чужие все же — с них много не спросишь... А ты — кровь родная... Ну, да бог с тобой!.. Девка, известно, ломоть отрезанный! На нее надежды не клади... Слышь, Степашка? Оправим тебя с братьями по-божьему, без обиды.

Степашка становилась все сердитее, лицо ее горело.

— А ты брось хоть словечко, — подошла к ней добрая старушка, — скажи что ни то... Вековое ведь дело.

Степашка молчала.

— Эка телка упрямая! — прошептала сокрушенно старушка.

Дед махнул рукой и неожиданно всплакнул:

— Бог с ней!.. Ну, а теперь, в закончание, напиши, милячок, — сказал он мне, утирая рукой глаза, — в случае же, ежели, чего господи сохрани — выйдет ей произволение навеки в девках оставаться, — нам, братьям, выделить ей, по равнению третью из общего нашего имущества часть, как следует, по дедовскому обычаю, как-то: амбарушку, для местожительства, с приспособлением; печку вывести; от приплоду телку да ягнят пару, а ежели пожелает хозяйствовать, то выделить ей соху, да борону, да мелочь, что по хозяйству будет нужно.

Вдруг Степашка поднялась, бросила на лавку тулуп и, вся нервная, порывистая, взволнованная, с сердито сверкающими из-под густых бровей темно-кариими глазами, подошла к столу.

— Ты, барин, этого не пиши... Похерь это!.. Похерь!.. Я свое себе найду... Я свое судом найду... когда надо будет!.. Ты бы лучше, дедушка, чем о других промыслять, лучше бы себе вальяные хошь сапоги выговорил... Все оно по миру-то ходить пригодятся!.. А то вон у Ионыча и их нет! — У Степаши пробежала по губам

злая улыбка и искривила ей губы; она быстро повернулась и пошла к двери.

— Тьфу, тьфу, лиходейка!.. Глаз бы тебе на глаз, типун на язык! — плюнул ей вслед Чахра-барин, когда она громко стукнула дверью.

— Ишь ты, какая козырь! сказали старики.

— Огонь! — прибавил старший брат.

— Пора бы тебе, Онуфрий, ее усватать... Сгубит, того гляди, и себя, и семью... Мужика бы ей нужно, чтобы смирил... Вот что мой сын, — сказал дед Ареф, — он бы ее, что норовистую лошадь, кнутом выходил...

— Братец мой, пытался, — отвечал дед. — Неужели не пытался? Да сладу нет — нейдет. Говорит: по своей воле хочу! Бить ежели... Собирался иной раз, потреплю за косы... Да силы нет во мне на это; не такой уж я зародился... Думаю, из чего я ее стану бить? Ведь она не балует!.. Признаться, братцы, слабенец я, точно, грешен в этом! Думаю, лучше стерплю... Стерпится — слюбится... За словом николи не гнался!.. Думаю, добрые люди это всегда в заслугу поставят... Вот она говорит: «Хоть бы валяные сапоги...» А я думаю: неужто ж мои заслуги валяных сапог стоят?..

Что мне их выговаривать, когда ежели я знаю, что у добрых людей заслуга не пропадает?.. Так ли? Ну, на том и порешим! Выпьем-ка, старики! Проздравим с благополучным окончанием! А там будем жить-поживать, как и раньше жили... Только с бабами мне теперь сподручнее будет! — пошутил дед.

— Тебе теперь с бабами чудесно! — заметил младший сын.

— Теперь распределено! Коли что — сейчас в бумажку, — прибавил старший сын со своей добродушно-хитрой насмешкой.

— Благослови господь вековому делу быть в соглас и мир, в совет и любовь... а мне, старику, стоять в большинстве твердо и неуклонно до конца предела, пока господь силы и разума не отымет!.. Тогда сам скажу: «Не осудите, родные, приустал; печки старая спина просит! Моих же заслуг не забудьте»...

Снова раздались пожелания, впересыпку; все говорили, перебивая друг друга. Некоторые старики успели охмелеть и лезли целоваться с дедом Онуфрием и почему-то, кстати, со мной. Старший сын с рыжею лохматкой после трех рюмок совсем умилился, сбе-

гал «мигом» за новой четвертью и потом стал со всеми целоваться и обниматься. Деда Онуфрия совсем зацеловали. От удовольствия и водки осовел он и сам, и лицо, и борода его светились несказанным блаженством.

— Король, король, Онисимыч, вполне! Дай тебе господь! — любовно несколько раз говорил ему черноволосый мужичок, постукивая по плечу и пристально глядя ему в лицо своими выпяченными глазками.

Прошел год. Также осенью пришлось мне навестить одного знакомого землевладельца, жившего верстах в пяти не доезжая Больших Прорех.

Сидел я в зальце своего знакомого, у окна, выходявшего в палисадник, из-за подстриженных жидких акаций которого виднелась невдалеке старая шосейная дорога; березовая роща с покрасневшими листьями стояла по другую сторону дороги, а из-за рощи, каждые полчаса, слышались свистки поездов и подымались беловатые, густые клубы паровозного дыма, мигом разносимые осенним ветром над головою рощи. Я сидел с моим приятелем и его женой, большой любительницей деревни, нарочно уговорившей мужа купить имение и заняться сельским хозяйством. Ей хотелось «изучить народ и деревню дотла», как выражалась она. Мы курили папиросы и вели разговор именно на тему «деревни». Катерина Петровна всегда считала своим долгом непременно говорить со мной «о деревне», так что, при всем уважении моем к предме-

ту ее любопытства, такое постоянство мне несколько надоедало. Разговор на минуту у нас как будто истощился, и мы бесцельно стали смотреть в окно. Но в это время на шоссе показались два старика; один был в старом сермяжном кафтане и лаптях, другой — в рубахе и босой. Они чуть держались, хватаясь друг за друга, под напором ветра, который гнал их вдоль дороги, осыпал целым дождем побуревших листьев и пы ли, срывал с голов шляпы и развевал их жидкие, седые волосы. Добравшись до поворота, они быстро повернули к нашей усадьбе.

Катерина Петровна давно уже внимательно следила за ними.

— Это мой приятель, сказала она, вот тот, в поповской шляпе... Дурачок.

— Я его видел, сказал я.

— Да? Он меня чрезвычайно интересуется... Мне очень хочется вникнуть в причины появления в наших деревнях этих дурачков, юродивых и пр. Их так много, — прибавила она и вышла в другую комнату навстречу старикам.

— Вот я тебе еще привел приятеля... Кор-

ми! — раздался из соседней комнаты грубый и шепелявый голос Ионыча, вероятно обращенный к Катерине Петровне. — Накорми его, а я тебе пойду дров нарублю, воды принесу, двор подмету...

— Ты, дедушка, откуда? — спрашивала Катерина Петровна.

— Я, сударыня, дальний... издалеча, — отвечал другой старческий голос.

— Куда же ты идешь?

— А так брожу... Потому, милая, мне конец предела пришел... Поработал на свой век, слава тебе, господи!.. Вздохнуть пора... Вот и пошел по миру разгуляться!

Голос показался мне знакомым.

— Кто ж у тебя дома остался?

— Дома у меня, как быть, дружочек, все в порядке... Королевство-то мое я, милая, пристроил, как быть; в полном виде сынам поручил!.. Все ведь свое, трудовое было!.. Да!.. Созвал их, говорю: «Вот, сыны мои, хочу я своей власти положить конец пределу; владейте теперь нашим имуществом вы, сами наблюдайте, а мне уж воли дайте... Приустал!» — «Ну что ж, — говорят, — старичок,

иди, разгуляйся... Неволить тебя не будем! Ты и так „потрудился... Вишь, какое нам королевство оставил! Твоих заслуг не забудем!“..» Благодарю создателя, прожил век не без заслуг! Есть что на старости вспомнить, чем похвастаться!

«Неужели это говорит он, Чахра-барин? — недоумевал я. — Да, это он, его голос, нет сомнения».

— Ты нам вот что: ты нам квасу дай только, а хлеба да луку мы своего накрошим... А больше ты нам ничего не носи! Не нужно! Велли нам только квасу дать, — раздался опять бас Ионыча.

Когда Катерина Петровна прошла через залу, чтобы велеть принести квасу, я вышел к старикам.

— Ты, дедушка, какими судьбами? — воскликнул я, увидав Чахру-барина.

Чахра-барин, видимо, обрадовался.

— Вишь, и ты здесь! Какое мне счастье-то! — весело сказал он. — Али знаком? — спросил он шепотом, показав на дверь.

— Да знаком. Мои хорошие друзья.

— Хорошие, верно... Барынька — мило-

сердная сестра, все одно!.. А ты подь-ка вот сюды... Мне тебе кое-что сказать нужно.

И дед пошел за дверь на крыльцо.

Ионыч все время усердно крошил черный хлеб в деревянную чашку, не обращая на меня никакого внимания. Я вышел вслед за стариком.

— Ты ведь, слышь, по зимам-то в Питере живешь? — допрашивал он меня, оглядываясь боязливо по сторонам, когда мы вышли на крыльцо.

— Да, в Питере.

— Чай, тебе, поди, человек там надобен? Поди, чай, тоже кое-где прислужить, за добром присмотреть...

— Нет, дедушка, мне не нужно... Что же ты, знакомого кого хотел пристроить?

Дед, не отвечая, притворил плотнее дверь в комнаты.

— Вот что я тебе хочу сказать, Миколаич, — заговорил он как-то стыдливо, не смотря мне в глаза и понизив голос, — сделай милость, возьми меня с собой в Питер! Будь друг! Я бы тебе вернее собаки услужил, слуга-раб был бы по гроб жизни... А от тебя одно-

го востребовал бы: чтобы на улицу меня не выгонял да кус черного хлеба!.. Ну, рюмку водки когда, ежели твое расположение будет...

— Дедушка! да ведь тебе шестьдесят лет! Как же ты решаешься?

— Век, милячок, прожил в здешних местах, никуда не тянуло, и мысли не было, а теперь — хошь в самый Питер! Теперь ничего не боюсь... Теперь мой конец предела все одно загублен! Век нигде не бывал, а теперь иду! Бери! — иду! Я тебя полюбил... Я бы за тобой что нянька ходил... Ребятишек бы твоих нянчил, вместо родных внуков... Пса вернее, говорю, твое добро соблюдал бы!

— Да что с тобой случилось, дед?

Дед наскоро распахнул свой, подпоясанный мочалом, дырявый армячишко и, цепляясь костлявыми, дрожащими пальцами за ветхую и грязную синюю рубаху, стал усиленно рвать ее на груди.

— Вот, милячок, — говорил он, задыхаясь, напряженным шепотом, — глянь-ко-глянь — рубаху-то!.. Полгода ношу... Обменки нету... Вошь заела!.. Другой раз выйду

за село, к вечеру, чтобы не стыдно, разденусь да выполощу в пруду и рубаху, а порты... Сношенки снизвели меня!.. Говорят, «снизведем его, старого, вошью!»

— А где же Степаша?

— Степашка?.. У-у, беглая! Крови своей, родной крови бежала!.. Ты мне об ней не говори... Сношенки-то... Ты слушай, дружок, — все таинственным шепотом передавал мне Чахра-барин, стараясь снопа застегнуть на голой груди рваный зипунишко, — сношенки-то говорят, как сыны-то уехали, говорят: «Мы его снизведем, старого кота...» «Кабы ты, — говорят, — старый кот, сдох, так мужья-то с нами жили бы, не шлялись бы по сторонам!..» «Мы, — говорят, — тебя снизведем...» И туда меня, и сюда меня... «Какое, — говорят, — от тебя промышленье? Какое, — говорят, — от тебя хозяйству приращение?» А я, милячок, от утренней до вечерней зари в поле... Едешь это с сохой домой да по дороге-то пять раз наземь приляжешь... Ноги-то трясутся. Многого с меня не возьмешь... А мне, в благодарность, сухарь с водой!.. Ты слушай-ка: одонья стали складывать, залез я наверх: потому я первый

был мастер одонья класть, у меня одонье-то что точеная корона выходило! Залез этто я, а сношенки-то снопы мне кидают. Повернусь этто я задом, а мне нет-нет да снопом-то в спину... «Не дури! — крикну. — Поглядней действуй!» Обернусь опять, а мне снопом-то в загривок... Ну, я и ткнусь рылом-то... «Не дури! — кричу. — Ах ты, сорока!.. Ну, ты меня жизни решишь!.. Много ль мне надоть?»... Кричу эдак, а другая-то сно-шенка мне снопом-то в рыло... Да таково метко, индо из глаз искры посыпались, а из носу руда потекла... Тут я огорчился... Сполз этто с одонья... «Ах вы, — говорю, — лихое семя! Да вам что старик-то достался?»

Бросился за ними, бить хочу, кол было взял... А они на улицу, — на улице смех: «Го-го-го! Ушел я этто, братец, на задворки, присел на кортки да и взревнул... Реву, что коро-ва!»

И дед вдруг всхлипнул раз, другой. Все его лицо как-то неприятно сморщилось в кулачок, и он дико и глухо заныл.

Я стал его успокаивать, но он сам тотчас же отер кулаком слезы и спокойным уже го-

лосом проговорил:

— После того стал я, братец, своему дому не хозяин, своей земле не крестьянин; стал пропадать днями и ночами, с юродивцем стакнулся, по миру пошел... ровно бы божий человек!.. Возьми ты меня, сделай милость, отсюда!

— В Петербург, старик, не могу, а вот хочешь здесь, у барыни?

— Нету, нету... Ты меня дальше... на край света отправь.

— Ну, хочешь в город, к знакомому моему?

— Иду!.. Благослови господи!.. Иду!.. Дров нарубить, воды натаскать, с ребятишками заниматься... Еще послужу!

Я хотел вернуться в комнаты, но он удержал меня за рукав и опять шепотом проговорил:

— Дай ты мне, ради христа, рубль. Один рубль! Я с себя блоху-вошь изведу. Только, милочок, не сказывай никому, — прибавил он таким сердечным, жалобным тоном, что мне сразу стала понятна его невинная ложь в разговоре с хозяйкой. — Пуцдай ты один мое дело знаешь... Такое уж, видно, от бога произволе-

ные тебе!.. Оплошали мы с тобой тогда маленько, при разделе-то... Промашку сделали...

— А что?

— Ежели бы мы тогда с тобой хоть малую часть за собой удержали до скончания живота, хоть бы клевушок какой, — другой бы разговор пошел! Совсе-ем бы, братец, другой разговор пошел! — серьезно-деловитым тоном прибавил несчастный Чахра-барин и утвердительно несколько раз кивнул головой. — А то вот один кафтан охранил, с собой в мешке таскаю.

Мы вошли в дом. Катерина Петровна приготовила уже старикам чуть не целый обед и уселась беседовать с ними. Но старики, наскоро поев, поспешно ушли.

Я обещал Чахре-барину уведомить его письмом на Катерину Петровну.

— Ну, ладно, — заметил он мне опять по секрету, — я забегу.

К вечеру я стал собираться в дорогу, но уехал, конечно, не раньше, чем обязан был рассказать своей хозяйке с мельчайшими деталями все, что знал о Чахре-барине.

VII

Прошел еще год. Я вновь вернулся из Питера в свой родной город и в первый же день по приезде отправился к тем моим хорошим знакомым, у которых я пристроил Чах-ру-барина. Но, к моему удивлению, я не нашел его там. Вот что мне передали мои друзья.

Вскоре после моего отъезда в Питер Чах-ра-барин, действительно, явился к ним с письмом от меня. Они его приняли, и старик, видимо, очень обрадовался. Первое время он хлопотал ужасно: старался угодить во всякой мелочи, брался за всякую работу, ходил за хозяевами, как за детьми, а за их маленькими сыновьями, как за внуками. Но не прошло и месяца, как старик начал тосковать, стал пить водку, ходить по кабакам и, подвыпивши, постоянно рассказывал о том, какое у него было королевство и как он его «принаблюл». Эти воспоминания обратились у него в *idée fixe*, а месяца через два он стал часто плакать и, наконец, впал в детство, рассказывали мои знакомые. «В это время стала к

нему ходить девушка, о которой мы только после узнали, что она его дочь. Она жила где-то в услужении и случайно встретила отца в кабаке, когда приходила туда покупать водку. Не знаем, обрадовался ей старик или нет, так как он или постоянно улыбался ребячески, или плакал, но, по-видимому, он был доволен ею, в особенности когда она приносила ему белый хлеб, или кусок пирога от господ, или косушку водки. Случалось, что, выпивши, он вдруг валился к ней в ноги и, плача, просил в чем-то простить его. Так, незадолго до пасхи, вдруг приходит его дочь с узелком и просит нас отпустить старика: „Потому, что ж вам его держать попусту? При вашем деле он не нужен... Совсем уж старичок негодным человеком стал... Вы уж со мной его отпустите в деревню. Ему там милей будет“. И старик с дочерью пешком поплелись в свое село».

Приехал я в Большие Прорехи уже к вечеру. На деревенской улице царил полумрак, тот таинственный полумрак, когда еще на северо-западе горит оранжевая полоса зари и на востоке уже мигают чуть яркие звезды. В воздухе было свежо и сыровато; чувствува-

лось, что, того гляди, ночью ударит мороз. Пастух, собираясь в «ночное», плотно закуты- вался посредине улицы в большой мирской нагольный тулуп; кое-где у изб сидели мужи- ки в ожидании, когда бабы зажгут в избах ог- ни и приготовят ужин. Мне пришлось проез- жать как раз мимо «дворца» Чахры-барина, и я велел остановить лошадей.

У избы лежало большое, недавно срублен- ное, свежее бревно, которое тотчас же обдало меня крепким смолистым запахом. На бревне сидели две-три фигуры. Подойдя к ним бли- же, я узнал в одной из них большака-сына Чахры-барина с большою рыжею лохматкой.

— Опять к нам, господин, заглянул? — ска- зал он, по обыкновению, с добродушною улыбкой во все лицо, приподнимаясь с брев- на.

— Да. Опять... А вы как живете?

— Ничего... Живем... Хозяйству вот по до- машнему обиходу нонешнее лето...

— А дед где?

— Дед-то? Приятель-то твой?.. Али взыс- кался?

— Да, хотел бы повидать.

— Так, так... Он тебя любил... Ну, только, грешным часом, померши он.

— Умер? Давно ли?

— Померши... Так тебе сказать, около петрова дня будет... Померши, померши...

— С чего же это он? Ведь он еще не очень был стар?

— Точно... Где бы еще умирать!.. Еще годков пять за печкой посидел бы... Господь с ним! Еще годков бы пять лапти проковырял.

И большак закатился своим обычным добродушным, беззвучным смехом, покачивая из стороны в сторону золотисто-красною шапкой кудрявых волос. Засмеялись и сидевшие с ним рядом мужики.

— Я думаю, от огорчения он умер.

— Может, и с огорченнее... Старичок был чуткий... Это верно... Тоже все еще бодрился.

— Зачем же вы его огорчали?

— Кто его огорчал!.. Господь с ним!.. А уж это так, значит, предел ему пришел.

При этих словах так ярко припомнился мне рассказ старика о «кобылке и ее заслугах».

— Где же он умер? У тебя? — спросил я

большака.

— Нету, нет... От нас он в бегах почесть год был... А умер он у Степаниды... Она его в городе обрела, сюда вместе и пришли. Степанида незамужницей объявила себя и свою часть востребовала... Ну что ж, думаем, ежели господь ее таким несчастьем попустил: пуцай! Миром ей надел вырезали, как мужику, вполне... А мы с братом вот хибарку ей отдали (вот, насупротив), печку ей произвели... Что по хозяйству надо — справили... Должно, у нее деньжонки принаблюдены были: лошадь купила... Хозяйство вполне повела. И дедушку при себе оставила... Ожил было старик. Ходит это вокруг избы с топориком, хлопочет, постукивает. Как быть опять хозяин. Ровно бы и в дело... Забавник такой стал, господь с ним! Ну, да вот бог веку не продлил... Натрудил себя очень огорчением-то зараньше, думать надо. Ну, и не осилил.

Я подошел к маленькой амбарушке, стоявшей напротив, через улицу, как-то совсем вдавшись в глубь усадьбы, к овражку. В амбарушке, заметно, недавно выпилены два крохотных оконца и приделаны, чуть не из дра-

ничек, сенцы; у ворот еще и теперь валялись стружки и чурки — остатки неоконченной работы. Поленница сучковатого валежника сложена была сбоку. Как живой, припомнился мне в это время Чахра-барин. Вот, казалось, сейчас выйдет он ко мне навстречу, с топором в руке, в новых лаптях, добродушно мигнет правым, слепым глазом и начнет напоминовение разных заслуг: «Вот, милячок, глянь-ко сюды, какой дворец-то я вывел! Все ведь, друг, кровью это досталось... Не лихвой, не обманом, не разбойным ремеслом: во всем одна кровь наша да пот наш!.. Вишь, сенцы-то вывел: сам и дерево пилил, и скоблем скоблил, и тесину драл!..»

Вскоре мне пришлось заехать к моему арендатору.

Я полюбопытствовал насчет деда Арефа, и арендатор молча кивнул мне на запечку. Там, по-прежнему, увидел я деда Арефа, сидевшего, как статуя, в углу, в своих неизменных больших белых валяных сапогах, словно пригвожденных к полу.

— Что, дед, умер ведь Чахра-барин-то? а? А ведь ты, поди, не думал его пережить? —

спросил я.

— Умер, — протянул он. — Кабы заживо замер, что я, так дольше бы просидел на свете... Я-то уж давно омертвел, раньше его помер.

— Как помер?

— Да какой я крестьянин? Замест меня не крестьянин здесь сидит, а моща сидит!

Дед был прав, так ужасно прав, что, уезжая в этот раз из Больших Прорех, я не знал, что ему пожелать на прощанье: долголетней жизни или скорой смерти...

Примечания

Впервые — в журнале «Русское богатство». 1880. № 1, под заглавием «Деревенский Лир». Выходил отдельной книгой, переиздавался в сборниках рассказов Н. Н. Златовратского. Включался во все собрания сочинений Н. Н. Златовратского. Переиздавался в книге: Русские повести XIX века. М.: Гослитиздат, 1957.

Печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Собрание сочинений. Спб., т. 1–8, 1912. Т. 2.

[^^^]

*...из захудалых рукосуйных мужичков... — ру-
косуй — бездельник, лентяй.*

[^^^]

Платинка — платиновая трехрублевая монета.

[^^^]

...стоять бы сыну под красною шапкой... — то
есть быть отданным в солдаты, в рекруты.

[^^^]

Камардин — искаженное «камердинер»
(нем.) — комнатный слуга.

[^^^]

...большину... вел... — большина, большой, большак, большуха — старший в доме, хозяин, хозяйка; старший в общине или артели.

[^^^]

Подволока — чердак.

[^^^]

Косуля — соха или легкий плуг с одним лемехом.

[^^^]

Полати — помост в крестьянской избе от печи до противоположной стены, род полуэтажа, антресолей; общая спальня.

[^^^]

...пестрядинную рубаху... — пестрядь, пестрядина, затрапез, затрапезник (от купца Затрапезникова, которому Петр I передал пестрядинную фабрику) — пеньковая, грубая ткань, пестрая или в полоску.

[^^^]

Куженька — лепешка с творогом, ватрушка, шаньга.

[^^^]